
Ведьма из Сызрани
Кощеев ломбард
Ломбард «Вечность»
Умение
Голос
Черта характера
30 дней
Смерть Кощея — не там, где её ищут.

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Кощеев Ломбард

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Кощеев Ломбард / М. Панова — «Автор», 2026

Февраль 2033 года. На Советской открывается ломбард «Вечность». Его хозяин, вежливый старик Казимир Кащеев, денег не даёт. Он даёт то, чего тебе больше всего не хватает, а в залог берёт то, что у тебя есть: умение, голос, черту характера. Через тридцать дней невыкупленный залог становится его навсегда.Продавщица Люда разучилась считать. Пыжиков избавился от проклятия честности и тут же пожалел. А однажды утром кот Модест, которому двести двадцать три года, говорит Василисе: «Мяу». Просто «мяу». Кто заложил голос кота и зачем?Чтобы спасти город, Василисе придётся найти смерть Кощея. Та самая игла из сказки спрятана совсем не там, где её искали тысячу лет.Смешная и тёплая сказочная история с загадкой, о дружбе двух котов и о том, что самое ценное нельзя закладывать.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Вечность 5
Глава 2. Бирка 8
Глава 3. Казимир Кащеев 12
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Кощеев Ломбард

Глава 1. Вечность

Ломбард открылся в Сызрани второго февраля, в тот день, когда город замело так, что автобусы ходили через раз, а Михеич впервые за сорок лет не поехал за кефиром на велосипеде, а пошёл пешком.

Василиса узнала о нём, как узнавала обо всём в этом городе, — от Люды из «Продуктов 24». Люда стояла за прилавком, отсчитывала сдачу Зинаиде Павловне и сбивалась уже в третий раз.

— Сорок семь… нет… — Люда посмотрела на монеты в ладони так, будто видела их впервые. — Сорок… Зинаида Павловна, сколько я вам должна?

— Пятьдесят три рубля, Людочка, — терпеливо сказала Зинаида Павловна. — Ты мне это уже четыре раза сказала.

— Ага. — Люда пересыпала монеты из руки в руку. Остановилась. Подняла на Василису растерянные глаза. — Вась, а ты не знаешь, как считать сдачу?

Зинаида Павловна и Василиса переглянулись.

Люда двадцать два года стояла за кассой. Люда считала сдачу быстрее калькулятора, в уме, не глядя, параллельно рассказывая, кто с кем развёлся на Монгоре и почему. Люда однажды, на спор с Кузьмичёвым, перемножила два четырёхзначных числа за восемь секунд и выиграла у него бутылку коньяка, которую потом сама же ему и подарила на день рождения.

— Люда, — осторожно сказала Василиса. — Что случилось?

— Ничего не случилось, — сказала Люда. И вдруг улыбнулась — широко, счастливо, совсем не по-людиному. — Наоборот. Мне теперь сын позвонил. Из Питера. Впервые за год. Сказал — мам, прости, я был дурак. — Она снова посмотрела на монеты. — Это вот в «Вечности» сделали. Позавчера. Я туда зашла просто так, погреться, а там старичок такой приятный. Чай налил. Спросил, чего мне больше всего на свете не хватает. Я сказала — чтобы Димка позвонил. Он говорит: сделаем. Только оставьте что-нибудь в залог.

— И ты оставила?

— Ну. — Люда пожала плечами. — Он сказал, можно что-нибудь ненужное. Я подумала — а что у меня ненужного? Ну вот, говорю, считать умею. Двадцать лет считаю. Надоело. — Она засмеялась. — Он говорит: годится. Через тридцать дней можете выкупить, если захотите. А сегодня утром Димка позвонил.

Она высыпала монеты Зинаиде Павловне в ладонь. Все. Не считая.

— Возьмите сколько надо, — сказала она. — Я вам верю.

«Вечность» помещалась на Советской, в бывшем ювелирном. Василиса помнила его: облупленная вывеска «Изумруд», витрина с бархатными подушечками, на которых лежали обручальные кольца по доступной цене, и продавщица с высокой причёской, которая лет двадцать разгадывала один и тот же кроссворд.

Теперь вывески не было. Витрина была затянута изнутри тёмно-зелёным бархатом, тяжёлым, старинным, с золотой бахромой. На бархате — ни одной вещи. Только табличка. Медная. Начищенная до блеска. С гравировкой — тонкой, витиеватой, с завитками, какой сейчас уже никто не делает:

«ВЕЧНОСТЬ. Ломбард. Принимаем в залог всё, кроме денег. Выдаём всё, кроме денег. Срок — тридцать дней».

Дверь была закрыта. Над дверью висел колокольчик. Медный. Маленький. Неподвижный.

Василиса постояла перед витриной.

Повернула ручку настройки.

И отступила на шаг.

Из-за тёмного бархата, из глубины бывшего ювелирного, тянулись нитки. Не к людям — от людей. Сотни. Тонкие, разноцветные, натянутые, как струны на огромной арфе. Они уходили сквозь стекло в разные стороны, по Советской, по переулкам, по всему городу. К каждой — Василиса присмотрелась — был привязан маленький узелок. Аккуратный. Плотный. Как бирка на чемодане.

И ни одна из этих ниток не была тёплой.

Колокольчик над дверью качнулся. Сам. Хотя ветра не было.

Звякнул. Тихо. Мелодично. Как звенит ложечка о край хрустальной рюмки.

Василиса не вошла.

Она потом сто раз спрашивала себя, почему. Ответ каждый раз был один и тот же, неприятный и честный: испугалась. Не так, как пугаются темноты или собак. А так, как пугаются, когда понимают, что за дверью — что-то очень старое, очень спокойное и очень вежливое. И что оно её ждёт.

Она развернулась и пошла домой.

Дома было тихо.

Егор на смене. Дети в саду. Устя пряла за печкой. Фрол Евсеич смотрел передачу про ремонт и вполголоса спорил с ведущим о том, как правильно класть плитку.

Модест лежал на печке. На спине. Раскинув лапы. Подставив пузо тёплому кирпичу. Он с января так спал — с того дня, как они вернулись из Москвы. Говорил, что после Шаболовки и Донского у него в костях холод, который можно выгнать только кирпичом.

Рядом с ним, на углу печки, стоял валенок. Серый. Старый. Подшитый кожей по пятке. С дыркой на носке. Модест в нём не спал — валенок оказался тесным даже для кота, — но и убрать не позволял. Сказал: «Пусть стоит. Мне завещали».

— Модест, — сказала Василиса. — На Советской открылся ломбард.

Модест не ответил.

— Там старик берёт в залог умения. Люда отдала счёт. Ей за это сын позвонил.

Кот лежал на спине, глядя в потолок. Жёлтые глаза — открыты. Хвост свешивался с печки и медленно покачивался.

— Модест?

Он повернул голову. Посмотрел на неё. Долго.

И Василисе вдруг стало холодно. Так, как было холодно перед витриной «Вечности».

Потому что в жёлтых глазах — знакомых, насмешливых, двухсотдвадцатитрёхлетних — было что-то, чего она никогда в них не видела. Ни перед Касьяном, ни под Тишей, ни в подвале Спасской башни.

Вина.

— Модест, — сказала она тихо. — Скажи что-нибудь.

Кот перевернулся на живот. Сел. Обвил лапы хвостом. Посмотрел ей прямо в глаза.

И открыл рот.

— Мяу, — сказал Модест.

Обычное, кошачье, бессмысленное «мяу». Такое, какое слышали от него Олеся Викторовна и Элеонора Аркадьевна, Арсений с садящимся телефоном и сотни других клиентов, сидевших на табуретке у этого стола. Такое, какое слышал от него весь мир. Кроме неё.

Фрол Евсеич под печкой выключил телевизор.

Устя перестала прясть.

В доме тринадцать на Верхне-Кирпичной стало так тихо, что было слышно, как падает снег на крышу.

— Модест, — сказала Василиса. — Это не смешно.

Модест смотрел на неё.

— Мяу, — сказал он снова. Тише.

И отвернулся к стене.

Глава 2. Бирка

К вечеру стало ясно, что это не шутка, не простуда и не обида.

Василиса перепробовала всё. Сажала Модеста на стол и смотрела ему в глаза. Говорила с ним — долго, терпеливо, как с клиентом. Поила отваром шалфея, которым бабушка лечила охрипших певчих из церковного хора. Заставила Фрола Евсеича вылезти из-под печки и поговорить с котом по-домовому: у домовых, как выяснилось за шесть лет, был свой язык, старый, мурлыкающе-ворчливый, на котором Фрол с Модестом иногда ругались по ночам, когда думали, что все спят.

Фрол Евсеич вылез. Сел напротив кота. Сказал что-то длинное, с рокочущими согласными.

Модест посмотрел на него.

— Мяу, — сказал он.

Фрол Евсеич вздрогнул. Медленно, по-стариковски, поднялся. Отряхнул тельняшку.

— Пусто, девка, — сказал он хрипло. — Не просто человечий язык забрали. Весь. Совсем. — Он покачал бородой. — Он мне ничего сказать не может. Ни по-нашему, ни по-вашему. Только — вот это. Как у простого кота. — Домовой помолчал. — Я двести шестьдесят лет с ним ругаюсь. Знаешь, какая это тишина?

Устя вышла из-за печки. Подошла к столу. Протянула руку к Модесту — медленно, как к пугливой птице. Положила ладонь ему на голову.

Модест закрыл глаза.

Устя постояла. Потом убрала руку. Посмотрела на Василису. Зелёными, болотными, всё понимающими глазами.

— Сам, — сказала она тихо.

— Что — сам?

— Отдал, — сказала Устя. — Сам. Не украли.

И ушла обратно за печку.

Василиса села на табуретку. Посмотрела на кота.

Модест открыл глаза. Посмотрел на неё. И снова — то же самое, что утром. Вина. Густая. Тяжёлая. И ещё что-то под ней. Упрямое. Как у Гаши, когда она что-то решила и не собирается объяснять.

— Ты сам, — сказала Василиса. — Модест. Ты сам туда пошёл?

Кот смотрел на неё. Не мигая.

Потом отвернулся.

Она повернула ручку настройки.

Нитки у Модеста были прежние — толстые, тёплые, старые. К ней, к детям, к Фролу, к Усте, к печке, к Евпраксии Тихоновне, к Агафье, к Луи. Та, что к Луи, — Василиса отметила мимоходом — была натянута сильнее обычного. Как струна. Почти звенела.

А на шее у кота — там, где у обычных людей ничего не бывает, — висела бирка.

Маленькая. Аккуратная. Не нитка даже — тонкий, как волос, шнурок, а на нём — узелок. Плотный. Тугой. Холодный. Как те, что она видела утром перед тёмным бархатом на Советской.

Шнурок уходил в окно. Через сад, через улицу, через город.

К «Вечности».

Дети вернулись из сада в шесть.

Гаша вбежала первой, как всегда, — в куртке нараспашку, с шапкой в руке, с мокрыми от снега варежками. Увидела кота на столе. Остановилась.

Долго смотрела.

Потом нахмурилась. По-настоящему. Как учила Евдокия Марковна на Кропоткинской.

— Модест Агафьевич, — сказала она строго. — Ты почему молчишь?

— Мяу, — сказал Модест.

Гаша подошла ближе. Встала вплотную к столу — макушкой ему по грудь. Посмотрела снизу вверх. Нахмуренная. Сосредоточенная.

— Мама, — сказала она, не оборачиваясь. — Он говорит, что нельзя.

Василиса замерла.

— Что нельзя?

— Говорить. — Гаша не отрывала глаз от кота. — Он не может сказать. Но у него в глазах написано. Как в книжке. — Она помолчала. — Он говорит, что так надо. И что ты будешь ругаться.

Модест резко отвернулся от Гаши. Спрыгнул со стола. Ушёл на печку. Лёг лицом к стене.

Гаша смотрела ему вслед. Брови медленно разошлись.

— Он плачет, — сказала она. Тихо. — Мама. Он не умеет плакать. Но он внутри плачет.

Алёша, стоявший в дверях всё это время, снял ботинки, аккуратно поставил их у порога, прошёл через кухню и полез на печку. Неловко, цепляясь за кирпичи. Добрался. Лёг рядом с котом. Обнял его.

Модест не отодвинулся.

Пыжиков пришёл в восемь.

Василиса открыла ему дверь — и не узнала. То есть узнала, конечно: серое пальто, шапка-пирожок, папка под мышкой. Но лицо было другое. Румяное. Оживлённое. С улыбкой — широкой, почти молодой.

— Василиса Андреевна! — сказал Пыжиков. — Добрый вечер! Вы сегодня прекрасно выглядите!

Василиса, которая с утра не причёсывалась, плакала дважды и была в Егоровом свитере с дыркой на локте, медленно моргнула.

Шесть лет Пыжиков не мог соврать. Ни разу. Ни в мелочи. Он не мог сказать «спасибо, вкусно», если было невкусно. Не мог сказать «да я не устал», если устал. Однажды, на дне рождения Зинаиды Павловны, он сказал ей «вы прекрасно сохранились», а потом, мучительно краснея, добавил «для своих лет», и Зинаида Павловна полгода с ним не разговаривала.

— Эдуард Кириллович, — сказала Василиса. — Вы в «Вечности» были?

Пыжиков улыбнулся ещё шире.

— Нет, — сказал он. — Что вы. Я туда не хожу. Это для легковерных.

И тут же — Василиса видела — его улыбка дрогнула. Он сам услышал, что сказал. Услышал — и испугался. На секунду. А потом испуг сменился чем-то другим. Похожим на восторг. На головокружение. Как у человека, который шесть лет просидел в тесной клетке и вдруг обнаружил, что дверца открыта.

— Я… — Пыжиков облизнул губы. — Я не был. Нет. — Пауза. Глаза у него блестели. — Никогда.

— Эдуард Кириллович.

— Я был, — сказал Пыжиков. Сдавленно. Как будто правда выскочила сама, по старой привычке, и он не успел её поймать. — Вчера. — Он мотнул головой. — Нет. Не был. Неважно.

Он прошёл на кухню без приглашения. Сел на табуретку. Положил папку на стол. Руки у него подрагивали.

— Я вам расскажу, — сказал он. — Как было. — То есть не так, как было. Иначе. Как мне хочется. — Он засмеялся. Нервно. Тонко. — Вы не представляете, Василиса Андреевна. Это — счастье. Шесть лет. Каждое слово — правда. Каждое! Внучке сказать, что рисунок красивый, когда он некрасивый, — нельзя. Дочери сказать, что её муж хороший человек, когда он — ну, вы понимаете, — нельзя. Врачу сказать, что не пью, — нельзя. — Он сжал руки на столе. —

А сегодня я внучке сказал, что её кошка в фиолетовую крапинку — лучший рисунок в мире. И она меня обняла. Первый раз за год.

Василиса молчала.

— Это было не наказание, — сказал Пыжиков тихо. — То, что со мной случилось. В двадцать шестом. Это было — правильно. Я знаю. Я был плохой человек. — Он помолчал. — Но шесть лет, Василиса Андреевна. Шесть лет — только правда. Я устал.

— Что вы отдали?

Пыжиков отвёл глаза.

— Правду, — сказал он. — Он так и сказал — «давайте вашу правду, Эдуард Кириллович, она у вас, вижу, тяжёлая, а мне в самый раз». — Пыжиков сглотнул. — А взамен дал — лёгкость. Просто лёгкость. Говорить что хочешь.

Он поднял глаза на Василису.

И она увидела, что он врёт.

Не про ломбард. Не про лёгкость. А про то, что он счастлив.

— Эдуард Кириллович, — сказала она мягко. — А что вы сказали дочери? Про её мужа?

Пыжиков открыл рот. Закрыл. Снова открыл.

— Сказал — хороший, — проговорил он. Медленно. — Она обрадовалась. — А потом он её ударил. Сегодня. Утром. — Пыжиков смотрел в стол. — Она мне позвонила. Плакала. Сказала — папа, ты же говорил, он хороший. Ты же никогда не врёшь.

На кухне было тихо.

Пыжиков сидел на табуретке. Сгорбившись. Серое пальто. Шапка-пирожок. Руки на столе.

— Я ей шесть лет говорил, что он плохой, — сказал он. Глухо. — Она меня не слушала. Злилась. Говорила — папа, ты всегда всех осуждаешь. — Он помолчал. — А вчера я соврал. Первый раз. Чтобы ей было приятно. — Он поднял голову. — И она — поверила. Потому что я шесть лет не врал. Понимаете? Она поверила. И осталась с ним. И он…

Он не договорил.

— Где она сейчас? — спросила Василиса.

— У меня. С внучкой. — Пыжиков сглотнул. — Я её забрал. Сразу. — Я ей сказал — всё будет хорошо. — Он посмотрел на Василису. Страшно. — Я не знаю, правда это или нет, Василиса Андреевна. Я больше не знаю. У меня её больше нет. Правды.

Ночью Василиса не спала.

Сидела на кухне. С Гроссбухом. Не писала.

Модест спал на печке, уткнувшись носом Алёше в шею. Алёшу так и не уговорили слезть.

Бирка на кошачьей шее — Василиса видела без всякой ручки, она теперь видела её постоянно, — тихо покачивалась в такт дыханию. Холодный узелок. Тонкий шнурок. Через окно, через сад, через спящую Сызрань — к тёмному бархату на Советской.

В половине третьего она встала. Надела пуховик. Валенки. Взяла ключи.

Фрол Евсеич высунулся из-под печки.

— Куда, девка?

— Туда.

Домовой долго смотрел на неё.

— Ночью не ходи, — сказал он наконец. — Такие ночью — сильные. — Утром. Когда он чай пьёт. Когда открыто. Как все.

— Он меня ждёт, — сказала Василиса.

— Знаю, — сказал Фрол Евсеич. — Потому и не ходи. — Он помолчал. — Девка. Модест тебе всё равно не простит, если ты ночью к нему пойдёшь и вляпаешься. Он для того и отдал. Чтобы ты — не вляпывалась.

Василиса стояла у двери. В пуховике. С ключами в руке.

— Отдал — зачем? — спросила она. — Ты знаешь?

Фрол Евсеич долго молчал.

— Не знаю, — сказал он. — Он мне не сказал. А теперь и не скажет. — Домовой полез обратно под печку. Остановился. — Но я двести шестьдесят лет его знаю, девка. Он за себя никогда ничего не отдаст. — Только за кого-то.

Глава 3. Казимир Кащеев

Колокольчик над дверью «Вечности» звякнул ровно в девять утра, когда Василиса взялась за ручку. Не раньше и не позже. Как будто кто-то внутри смотрел на часы.

Внутри было тепло и сумрачно. Пахло воском, старым деревом, чаем с бергамотом и ещё чем-то сухим и сладковатым, вроде засушенных между страницами цветов.

От бывшего «Изумруда» не осталось ничего. Стены были обшиты тёмными дубовыми панелями. Пол — паркет, ёлочкой, натёртый до зеркального блеска. Под потолком — люстра, бронзовая, с двенадцатью рожками, в которых горели не лампочки, а свечи. Настоящие. Белые. Высокие. Без единой капли воска на подсвечниках.

Вдоль стен, от пола до потолка, тянулись полки. На полках — шкатулки. Сотни. Маленькие, с ладонь, все одинаковые: из пожелтевшей кости, с медными уголками, с крошечными замочками. На каждой — бумажная бирка, привязанная бечёвкой. Почерк на бирках был один и тот же — тонкий, наклонный, с длинными хвостами, похожий на бабушкин и всё-таки совсем другой.

Посреди зала стояла конторка. Высокая. Дубовая. С наклонной крышкой. За конторкой — человек.

Он поднял голову, когда Василиса вошла.

— Доброе утро, Василиса Андреевна, — сказал он. — Я вас ждал вчера. Но так даже лучше. Вчера было бы поспешно.

Голос у него был мягкий. Негромкий. Бархатный. Как тот бархат на витрине — тёмно-зелёный, с золотой бахромой. Такой голос хорошо читает стихи вслух. И очень хорошо объясняет условия договора.

Он был высок. Очень. И очень худ — так худ, что казалось, костюм висит на нём, как на вешалке. Костюм был старинный: тёмный сюртук с высоким воротником, жилет с цепочкой, белоснежная сорочка, шейный платок, заколотый булавкой с тёмным камнем. Пенсне на шнурке. Длинные пальцы — длиннее, чем бывают у людей, — сложены на крышке конторки.

Лицо — узкое, бледное, с впалыми щеками, с острым подбородком. Не морщинистое. Гладкое. Как пергамент, который много раз сворачивали и разворачивали, и он стал мягким от этого. Возраст определить было невозможно. Шестьдесят. Сто. Тысяча.

Глаза — тёмные. Глубокие. Внимательные. Без тени насмешки.

— Казимир Кащеев, — сказал он и чуть наклонил голову. — Владелец. Прошу вас, присаживайтесь. Чаю?

У конторки стояло кресло. Обитое тем же тёмно-зелёным бархатом. Рядом — столик. На столике — стакан в серебряном подстаканнике, уже налитый. Пар над чаем. Долька лимона.

Василиса не села.

— Мне нужна квитанция, — сказала она. — Кота. Чёрного. Модеста.

Кащеев смотрел на неё поверх пенсне.

— Сядьте, Василиса Андреевна, — сказал он. Не приказом — просьбой. — Вы всю ночь не спали. У вас дрожат колени. Я не люблю, когда мои посетители падают. Паркет жёсткий.

Она села. Колени действительно дрожали.

Кащеев открыл крышку конторки. Достал книгу. Толстую. В кожаном переплёте. С медными застёжками. Василиса узнала её сразу, хоть и никогда не видела: такой же был Гроссбух. Только этот — чёрный.

Кащеев полистал. Неторопливо. Длинными пальцами. Нашёл страницу.

— Залог номер четыреста одиннадцать, — сказал он. — Принят пятого февраля, в два часа ночи. Предмет залога — голос. Целиком. Со всеми языками. — Он поднял глаза. — Срок выкупа — тридцать дней. До седьмого марта включительно. До полуночи.

— Кто заложил?

— Это тайна залогодателя.

— Это мой кот.

— Это его голос, — мягко сказал Кащеев. — Не ваш. — Он закрыл книгу. — У меня правила, Василиса Андреевна. Их немного, но они очень старые. Одно из них: я никому не говорю, кто и что мне оставил. Даже если это очевидно. Даже если очень просят. — Вы ведь не станете рассказывать мне, что вам доверил Пыжиков в двадцать шестом году?

Василиса вздрогнула.

— Откуда вы знаете Пыжикова?

— Я знаю всех, кто ко мне приходит, — сказал Кащеев. — Эдуард Кириллович — очень интересный залогодатель. Он принёс мне вещь, которую не создал сам, а получил. Чужое проклятие. Это редкость. Я такое беру с удовольствием. — Он чуть улыбнулся. Самыми уголками губ. — Хотя теперь, кажется, он жалеет.

— Верните ему.

— Он может выкупить. В любой день до шестого марта. — Кащеев развёл длинными руками. — Это его право.

— А что значит — выкупить?

Кащеев сложил пальцы домиком.

— Вернуть то, что получил, — сказал он. — Людмила Сергеевна, например, — вы её знаете, из магазина, — может прийти и сказать: верните мне счёт, а звонок сына заберите обратно. — Он чуть наклонил голову. — И сын больше не позвонит. И всё будет, как было до.

— Это жестоко.

— Это — честно, — сказал Кащеев. — Я никого не обманываю, Василиса Андреевна. Ни одного человека за… — Он подумал. — За очень долгое время. Каждый, кто сюда приходит, знает условия. Каждый подписывает. Каждый получает — ровно то, что попросил. — Знаете, сколько у меня невыкупленных залогов? За всю историю?

— Сколько?

— Почти все, — сказал Кащеев. — Люди очень редко хотят вернуть себе то, от чего отказались. И очень редко хотят отдать обратно то, что получили. — Он посмотрел на полки. На сотни костяных шкатулок с бирками. — Это не я их держу. Это они сами — не приходят.

Василиса смотрела на полки. На шкатулки. На бирки с тонким наклонным почерком.

Повернула ручку настройки.

В каждой шкатулке — она видела — что-то светилось. Тускло. Неровно. Как светлячок в банке. Красное. Синее. Зелёное. Золотое. Сотни огоньков. И от каждого — тонкий шнурок. Через стену. В город.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.